



1 ноября, 0:01 по тихоокеанскому времени  
**Жизнь начинается с предопределения. Пролог**  
*Отправил Леонард-КлаДезь*  
*(Hadesbrainiacleonard@aftrlife.hell)*

Добро и зло были всегда. И всегда будут. Только наши истории о них вечно меняются.

В шестом веке до Рождества Христова греческий законотворец Солон посетил египетский город Саис и привез оттуда такое описание конца света. Согласно пророчеству жрецов храма Нейт, пламя и ядовитый дым пронесутся по Земле. В один день и в одну ночь целый материк сгинет в морской пучине, и лжемессия поведет людской род к гибели.

Египетские провидцы предсказывали: Апокалипсис начнется тихой ночью на холме, что возвышается над королевством Лос-Анджелес. Там, пели древние оракулы, шелкнет замок. Среди огороженных особняков Беверли-Крест сдвинется тяжелый засов. Как записано Солоном, широко раскроются створки решетчатых ворот. Внизу в паутине фонарей будут ожидать сонные земли Вествуда, Brentвуда и Санта-Моники. И пока в воздухе тает тиканье последних секунд перед полуночью, за распахнутыми воротами будут царить лишь тьма и тишина, затем заурчит мотор, и два огня увлекут

этот звук за собой. И ворота выпустят «Линкольн», который начнет неспешный путь вниз по серпантину с верхней части Голливудского бульвара.

Ночь, как описано в древнем пророчестве, безмятежна, ни ветерка, и все же там, где неторопливо проезжает машина, поднимается буря.

По пути из Беверли-Крест в Голливуд-Хиллз «Линкольн» вытягивается: он длинный и черный, как язык придушенного удавкой. В розовых мазках уличных фонарей машина глянцево блестит, словно вылезший из гробницы скарабей. И когда она доезжает до Кингз-роуд, огни Беверли-Хиллз и Хэнкок-Парка вздрагивают и гаснут: вымарываются не дом за домом, а целиком квартал за кварталом; она минует бульвар Кресент-Хайтс — пропадает район Лорел-Каньон: исчезает не только свет, но и шум, и звуки музыки. Стирается всякий проблеск, намекающий на город; машина скользит вниз от Фэйрфакса к Огден-драйв и Гарднер-стрит. Так тьма накрывает город, тенью следуя за роскошным «Линкольном».

И ровно так же следует за ним свирепый ветер. Как предсказано древними жрецами, вихрь стегает плюмажи высоких пальм на Голливудском бульваре, а те метут небо. Хлещущие друг о друга ветви швыряют вниз жуткие неясные фигуры, которые с визгом рушатся на мостовую. Эти яростно бьющиеся тельца с глазками-бусинами и чешуйчатými змеиными хвостами колотят по «Линкольну». Они падают, вереща. Их когти неистово царапают воздух. Их удары не могут пробить лобовое стекло — стекло бронированное.

Покрышки стучат по ним, растирая плоть. Эти визжащие, цепляющиеся силуэты — крысы. Эти летящие к гибели тельца — опоссумы. Под колесами шерстяной ковер взрывается алыми брызгами. Дворники смахивают с лобового стекла еще теплую кровь, раздробленные кости не могут проткнуть покрышки — резина тоже бронированная.

И ветер так могуч, что прометает улицу насквозь и волочит груз изуродованных вредителей, толкает волну увечных прямиком за машиной, когда та въезжает в Сполдинг-сквер. Борозды молний раскалывают небо, ливень бомбардирует черепичные кровли. Фанфарами взрывается гром, и дождь падает на мусорные баки, размочаливая полиэтиленовые мешки и пенопластовые стаканчики.

И безлюден бульвар под маячащей башней Рузвельт-отеля, и только мусорное войско движется по городу, не замечая светофоров и машин. Улицы и перекрестки пустынные. На тротуарах — никого, и, как обещано древними прорицателями, в каждом окне темнота.

Во вскипающем небе не блуждают самолетные огни, ливнестоки захлебнулись, кругом потоки воды и шерсти. Дороги скользкие от внутренностей. У Китайского театра Граумана уже не Лос-Анджелес, а сплошь хаос и бойня.

Однако впереди, невдалеке от машины, все еще горят неоновые вывески; единственный квартал Голливудского бульвара, где ночь тепла и спокойна. Дождь не капает на тротуар, зеленые тенты ресторана «Муссо и Франк» свисают неподвижно. В небе над здешними домами нет облаков, и в этот

туннель проглядывает луна, деревья вдоль тротуара не шевелятся. Фары «Линкольна» так забрызганы красным, что отбрасывают перед машиной дорожку алого света. Эти красные лучи выхватывают из темноты юную деву. Стоит она по другую сторону от музея восковых фигур и здесь, посреди ока страшной бури, разглядывает звезду, отлитую из розового бетона и утопленную в тротуар. В ушах у девы сияющий кубический цирконий размером с десятицентовик, а на ногах поддельные «маноло блиники». Прямая юбка в мягких складках и кашемировый свитер на ней сухие. Рыжие выющиеся волосы тяжело ниспадают на плечи.

Имя на звезде — Камилла Спенсер, но дева не Камилла Спенсер.

Розовый комок засохшей жвачки, еще несколько — розовые, серые, зеленые — безобразной коростой облепляют тротуар. На них следы зубов, а помимо того отпечатки подошв. Юная дева колупает комки острым носом фальшивых «манол», пока не отшвыривает мерзкие наросты ногой, пока звезда не становится если не совсем чистой, то чище хоть немного.

В пузыре тихой, безмятежной ночи дева берет подол юбки и подносит к губам. Она плюет на ткань, опускается на колени и оттирает до блеска имя, отлитое в латуни и впечатанное в розовый бетон. Когда к ней подъезжает «Линкольн», она встает и кругом обходит звезду — с почтением, с каким обходят могилу. В одной руке у девушки наволочка. Пальцы — белый лак на ногтях облез — сжаты в кулак, белая ткань оттянута грузом

жевательных конфет. В другой руке — надкусанный шоколадный батончик «Бэйби Рут».

Зубы в фарфоровых коронках машинально жуют. Полоска шоколада очерчивает пухлые надутые губы. Саисские пророки предупреждают: красота этой молодой женщины такова, что всякий увидевший ее позабудет любые удовольствия, помимо пищи и секса. Столь притягательна ее материальная форма, что узревший ее становится лишь кожей да желудком. И поют оракулы, что ни жива она, ни мертва — ни смертная, ни дух.

«Линкольн», остановившийся у обочины, сочится алым. Заднее боковое окно, зажужжав, чуть приотпускается, из шикарного салона раздается голос. Мужской голос посреди ока бури спрашивает:

— Шалость или угощение?

Со всех сторон на расстоянии брошенного камня ночь бурлит за невидимой стеной.

Губы девы, блестящие от помады — *ало-алой*, цвет под названием «охотница на мужчин», — ее полные губы улыбаются. Воздух до того тих, что можно почувствовать ее духи — аромат как у цветов, оставленных в гробнице и сохших под прессом тысячу лет. Она льнет к стеклу и говорит:

— Ты опоздал. Завтра уже настало. — Она похотливо подмигивает, медленно прикрыв глаз веком в бирюзовых тенях, и спрашивает: — Который час?

И ясно, что мужчина пьет шампанское: в этой тишине даже пузырьки лопаются громко. И громко тикают часы на его запястье. И голос из машины отвечает:

— Час, когда всем плохим девочкам пора в постель.

Молодая женщина вздыхает — уже задумчиво, — облизывает губы и улыбается не так уверенно. Полузастенчиво и полупокорно она говорит:

— Кажется, я нарушила свой комендантский час. Я поступила скверно.

— Осквернять бывает чудесно, — отвечает мужчина. — Как и быть оскверненной.

Тут дверь «Линкольна» распаивается перед де-вой, и та без колебаний залезает внутрь. А дверь эта — врата, поют предсказатели. А машина — зев, пожирающий лакомство. И скрывает машина деву в своем желудке, нутро которого щедро обито бархатом, словно гроб. Тонированное стекло, жужжа, поднимается. «Линкольн» стоит, пар идет от капота, блестит глянцевый кузов. На нем теперь красная бахрома: по краям растет борода из свернувшейся крови. Малиновые следы колес ведут к месту, где припаркована машина. Позади нее буря, но здесь слышны только приглушенные ритмичные возгласы мужчины. Древние говорят о них как о мяуканье, как о писке раздавленных крыс и мышей.

Наступает тишина, затем вновь скользит вниз стекло. Показываются обломанные белые ногти. В пальцах болтается латексная шкурка — уменьшенная версия наволочки, тяжело обвисший мешочек. Его содержимое: нечто мутно-белое. По латексной оболочке — она вся в ало-алой помаде — размазаны карамель и молочный шоколад. Вместо того чтобы выбросить мешочек в канаву, девушка

прикладывает его к губам и, выдыхая, наполняет воздухом, надувает и ловко перетягивает открытый конец. Так повивальная бабка перетягивает пуповину новорожденного. Так клоун скручивает узел на воздушном шаре. Она завязывает надутую шкурку, запечатывая внутри млечное содержимое, и начинает ее сворачивать. Она гнет и вертит, пока трубка в ее руках не принимает форму человечка: с двумя ногами, двумя руками и головой. Кукла-вуду. Размером с младенца. Она кидает это гадкое творение, измазанное сладостью с ее губ, с таинственной мутной жижей внутри, в центр ждущей его розовой звезды.

Согласно пророчеству, записанному Солонном, фигурка, легшая в священную форму пентаграммы, есть жертва из крови, и семени, и сахара; она — подношение, сделанное подле Голливудского бульвара.

Этой ночью и этим ритуалом начинается отсчет времени до Судного дня.

И вновь зеркальное окно встает на место. В этот миг буря, ливень и тьма разом скрывают машину. Как только «Линкольн» отъезжает, увозя юную деву, ветры подбирают брошенного ею рукотворного младенца — завязанный пузырь — сотворенного кумира. Ветер с дождем гонят щедрый урожай убитых грызунов, пластикового сора и сухой жвачки, швыряют и волочат их по направлению силы гравитации.

21 декабря,  
6:03 по центральноевропейскому времени

**Я ем, следовательно, существую**

*Отправила Мэдисон Спенсер*

*(Madisonspencer@afirlife.hell)*

Милый твиттерянин!

Первым делом стоит заметить, что я всегда полагала свой разум органом пищеварения. Если позволишь, желудком, который переваривает знания. Человеческий мозг — складчатая сморщенная серая масса — крайне похож на кишечник. Эти мыслительные потроха расщепляют и перерабатывают события в историю моей жизни. Мои мысли приходят то ароматной отрыжкой, то едкой рвотой. Неперевариваемые хрящи и кости воспоминаний исторгаются вот этими самыми словами.

Вести честный блог — способ исправить жизнь, проживая ее задом наперед. Это все равно что есть чизкейк с арахисовым маслом, но в обратном порядке, и это так же гадко.

Скрученные, извилистые кишки моего мозга — своего рода живот интеллекта. Трагедии изъязвляют. Комедии подпитывают. В итоге, будь уверен, твои воспоминания надолго переживут твою плоть — я тому свидетельство. Меня зовут Мэдисон Дезерт Флауэр Роза Паркс Койот Трикстер Спенсер, и я — призрак. То есть: у-у-у! Мне трина-

дцать лет, и я несколько полновата. То есть я мертвая и жирная. То есть: хрю-хрю, уи-уи, реальный жиртрест.

Моя мама не даст соврать.

Мне тринадцать, я жирная и останусь такой навсегда. И да — я знаю слово «изъязвлять». Я мертвая, а не невежественная. Слыхал про кризис среднего возраста? Его еще называют кризисом середины жизни. Так вот, у меня кризис середины смерти. Месяцев восемь я обитала в огненной преисподней, а теперь в виде духа застряла в физическом, во плоти живущем мире, более известном как чистилище. Это прямо как лететь в папином «Саабе-дракене» на сверхзвуковой из Бразилии в Эр-Рияд, только нарезать круги в зоне ожидания над аэропортом, пока тебе не дадут добро на посадку. Говоря понятнее, чистилище — это место, где ты стираешь книгу своей жизни.

Что касается ада, жалеть меня не следует. У всех у нас есть тайны от Бога, и это утомительно. Если кто и заслужил гореть в негасимом озере вечного пламени, так это я. Я — чистое зло. Нет для меня наказания слишком сурового.

Моя плоть есть мое жизнеописание, *curriculum vitae*. Мой жир — мой банк памяти. Прошлая жизнь заархивирована и записана в каждой толстой клетке моего призрачного сала. Для Мэдисон Спенсер сбросить вес — значит исчезнуть. Лучше плохие воспоминания, чем никаких. Будь уверен, жир ли у тебя, счет в банке или семья, которую любишь, однажды ты станешь бороться с нежеланием оставить во плоти живущий мир.

Поверь, когда умираешь, из всех людей труднее прочих отпустить себя самого. Да, милый твиттерянин, мне тринадцать, я — девочка, и я знаю слова *curriculum vitae*. Более того, я знаю, что даже мертвые не хотят исчезать совсем.

21 декабря,  
6:05 по центральноевропейскому времени  
**Как меня лишили места среди тех,  
кого уже лишили Божьей милости**  
*Отправила Мэдисон Спенсер*  
*(Madisonspencer@aftrlife.hell)*

Милый твиттерянин!

Я не застряла бы здесь, на Земле, галапагосской каменюке, не пила бы теплую черепашую мочу людского соседства, если бы не хэллоуинские фокусы неких трех мисс Шлюшни Шлюхенс. В тот Хэллоуин я была мертва, а кровь моя вот уже месяцев восемь как слита. Да, меня прокляли за страшное убийство, о котором — чуть позже. В аду одна из главных пыток состоит в том, что каждый из нас втайне знает, за что оказался здесь. Сбежала я вот как. Согласно обычаю, в канун Дня Всех Святых население Гадеса целиком возвращается на Землю и от заката до полуночи добывает соленые орешки, изюм в шоколаде и тому подобное пропитание. Я недурно поживилась сладкими батончиками, шаря по жилым пригородам, чтобы пополнить сокровищницу ада, когда ветер донес из темной дали мое имя. Несколько девчачьих голосков — писклявых и канючливых — тянули:

— ...Мэдисон Спенсер... Мэдди Спенсер, явись нам, повинуйся нашим приказам!

Мы, отжившие, вам, досмертным, не дрессированные собачки. У мертвых есть дела поважнее, чем отвечать через идиотские колдовские доски на вопросы про выигрышные номера и про суженых. Ох уж эти ваши спиритические игры, столоверчения и другие дурацкие заманки для духов. Чтобы собирать сладостей, у меня были каких-то четыре часа темноты, и тут меня призывает хихикающая тусовка мисс Курви Курвикс. Эта троица сидела на моей бывшей кровати в интернате в швейцарском Локарно и хором голосила:

— Покажись, Мэдисон Спенсер! Дай посмотреть — на том свете твоя задница такая же толстая?

Шикая друг на дружку, мисс Подстилы Подстилянские нараспев проговорили:

— Открой нам тайну призрачной диеты, — прыснули от собственного детсадовского юмора и повалились, пихая одна другую плечами. Они сидели по-турецки, пачкали обувью мою бывшую постель, попинывали изголовье, ели поп-корн, а на тарелке горели свечи.

— У нас есть чипсы, — дразнили они, шурша пакетиком. — Со вкусом барбекю. И луковый соус.

— На-ка, Мэдисон, — стала зазывать одна. — Иди-ка сюда, хрюшечка, иди...

Потом все вместе:

— Уи-уи-уи! Хрю-хрю! Сюда, поросеночек, сюда! — понеслось в холодную хэллоуинскую ночь.

Они хрюкали. Они фыркали. Они звали, громко чавкали, хрустели питательными закусками, заходились визгом от хохота.

Нет, милый твиттерянин, я не убила их в приступе ярости. В тот момент, когда я пишу эти строки, они вполне живы, хоть и поприкусили языки. Довольно сказать, что я откликнулась на их кошачий концерт и прибыла на черном «Линкольне». В тот Хэллоуин пакостное трио Шмари О'Шмарникс с моей помощью избавилось от скудного содержимого своих анорексичных кишок. Нехорошо, нехорошо я поступила. Оправдываю себя тем, что слегка нервничала — заканчивалось отведенное мне время.

Задержаться хоть на секунду означало быть изгнанной на унылую Землю, и каждое мгновение я помнила о длинной стрелке моих наручных часов, взбиравшейся к двенадцати. Как только три мисс Лярви Лярвинс покрылись достаточным слоем собственного благоухающего харча и липких какашек, я рванула к «Линкольну».

Верная машина, готовая умчать меня с места преступления, ждала там, где я ее оставила: у заиндевелого бордюра и снежной лужайки возле школьного общежития. Ключи висели в замке зажигания. Часы на приборной панели показывали одиннадцать тридцать пять — достаточно, чтобы вернуться в ад ко времени. «Ах, Земля», — подумала я несколько благодушно и даже с ностальгией, взглянув на старое здание, где прежде тайком жевала инжирные рулетики и почитывала «Паразитов» Дюморье. Все до одного окна ярко горели, многие были распахнуты, впуская морозный швейцарский воздух, ветер с ледяных склонов унылых Альп играл шторами. Из каждого раскрытого окна высовывались головы богатых школь-